

**И вот эта теплая встреча
для меня обернулась
агом,** —

скажет он в горькую минуту. Но от этого «ада» он никогда не отречется. «Я без России не могу», — признается он после выхода из «Крестов», обсуждая возможность отъезда за границу.

Тогда он уже был очень тяжело болен. Через два года его настигнет смерть (язвенное кровотечение). Он будет похоронен в Спасо-Преображенской церкви, что на Конюшенной площади, где отпевали Пушкина 155 лет назад, и похоронен он после выхода из «Крестов», обсуждая возможность отъезда за границу.

Может быть, чтобы найти в себе силы видеть этот мир, жить в нем и рассказывать о нем, не закрывая глаза и не затыкая уши, он сам надевал на себя «маску». Это маска простеца или хама, «шарика» или опустившегося и потерявшего себя, свое человеческое лицо героя «дна». Это не только литературный прием, позволяющий спрятаться за ироническую усмешку, говоря от первого лица. Это — способ скрыть боль. Так делали Зошенко и Высоцкий.

Он берет на себя, надевает «чужую одежду», вживается в чужую «шкуру», будто избывая для мира чудовищное искажение человека.

Приставили наган. Спросили:

«Кто ты?»

У меня душа ушла в боты.

**Отвечаю: «Прессовщик
второго разряда».**

Разрядили в меня два заряда.

**Лежу в больнице, смеюсь
и плачу —
Ловко, однако, я их огурачил.
Я же прессовщик шестого
разряда —
Получил бы еще четыре заряда.**

А вот признание другой «маски»: **Убитую у сквера
Припомнить не берусь я:
По наколкам Вера,
А по шрамам Дуся...**

В начале девяностых, когда все мы жили особенно трудно, по карточкам, он по конфетке, по яблочку собирал подаренные и купленные на редко водившиеся у него деньги гостинцы для дочери, чтобы отнести ей в детский дом.

Его посадили на Пряжку, незаконно, по грязному сговору, поправ все человеческие права. Там, в психиатрической больнице, был такой случай. Больной, совершенно невменяемый человек, его сосед по трудотерапии, никак не мог склеить коробочку. Олег с ласковой укоризной пенял ему: «ведь это так просто, и дадут поощрение — кружку «кампоты» — и клеил за него. Он совершенно по-детски простодушно радовался своему превосходству в деле клепания коробочек. (Ему самому за невыполнение плана давали сигарету.)

Удалось вытребовать свидание с «пациентом». Мы размахивали на-

шими удостоверениями «прессы», это казалось персоналу тогда опасным. Олег приоделся к нашей встрече. Поверх полосатой пижамы, в которую его облачили, он накинул белое полотенце, как кашне, которое когда-то было модно.

Это очень белое полотенце страшно оттеняло желтизну его лица. (Он работал тогда на «Скоророде», на каблучковом автомате, на конвейере, с ацетоном.) Это отравляющее действовало на его уже и без того больную печень. С этого конвейера его и взял наряд милиции и доставил в психиатрическую больницу. Уже потом, в Детгизе, он рассказывал, шутиливо стуча себя в грудь: «Они оторвали меня от моего любимого каблучкового автомата!». И как это умеют делать дети, он удивительно изобретательно шумел, скрипел и посвистывал, как этот каблучковый автомат, ритм работы машины он отмечал рифмой.

— Ради Бога, — сказал нам Олег в больнице, когда мы провалились к нему, — сделайте что-нибудь скорее. Один день здесь стоит десяти лет жизни.

— Ты будешь свободен через три дня. Что тебе нужно?

— Только карандаш, огрызок. Ручку отнимут. Бумагу уже спрятали под матрас. Огрызок незаметен. Не найдут.

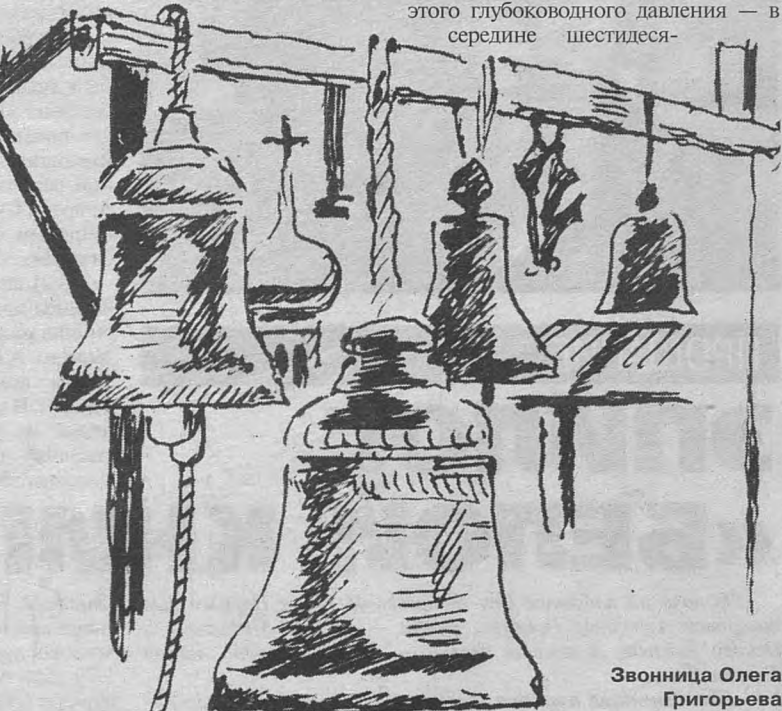
Назавтра мы пришли вопреки расписанию посещений. Принесли передачу и клеили коробочки, зарабатывая Олегу на сигареты.

...Он пригласил бездомную шпану, в холодную зиму пожалев ребят, сбе-

Олег Григорьев, как бы ни толкала его жизнь упасть на самое дно и никогда больше не подняться, поднимался снова. Не теряя дара слова и доброты. Так случалось, что после каждой книги, после каждой из трех детских книг, вышедших при его жизни (1970, 1981, 1987 гг.), он мог, сорвавшись на землю, никогда больше не вернуться к творчеству. Но всякий раз «на землю не садился», вставал. «Стриж на землю не садится, не земная это птица».

Во всяком случае, на суде Олег Григорьев вел себя не как простой рабочий. Он был абсолютно свободен и абсолютно спокоен. Будто и не было того колоссального глубоководного давления, которое годами, десятилетиями приучало нас верить в непоколебимую правоту власти. Он был доброжелателен к суду и полон чувства собственного достоинства. Но если продолжить это невольное сравнение двух процессов... Безусловно, это две разные эпохи, разная степень этого глубоководного давления — в

середине шестидеся-



Звонница Олега Григорьева

БЫТЬ, КАК ВСЕ

Олег ГРИГОРЬЕВ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

НА ОХОТЕ

**Поставили на номер молчуню;
Стою под елью в чаще и молчу.
Прошла семья оленей табуном.
От восхищения я как закричу!..**

**Угнали звери из охотничьей
ловушки,
Охотники со злобой выпили
по кружке.**

**Поставили меня под ель
«кричалой».**

**Присел на пень, сижу с ружьем
к плечу.**

**Идет, ломая сучья, лось усталый.
Мне надо бы кричать,
а я молчу.**

**В глухую топь ушел он из засады,
Охотники плевались от досады.**

**Меня в купе втокнули,
Стою, едва дыша.
В окно мне протянули
В пеленках малыша.**

**Внезапно поезд тронулся
Кричу я — чье гитя?
Молчок, я чуть не тронулся.
Толпа галдит, шутя.**

**К груди прижал пакет,
Тесней прильнул к окошку.
Какая-то в платке
В лицо швырнула трешку...
Рукой махнула тихо...
Наверное, бомжиха.**

**Жена подала мне яблоко
Размером с большой кулак.
Сломал пополам я яблоко,
А в яблоке — жирный червяк.**

**Огну половину выел,
Другая чиста и цела.
С червяком половину я выкинул,
Другую жена взяла.**

**И вдруг я отчетливо вспомнил —
Это было когда-то со мной:
И червь, и сад, и знойный полдень,
И дерево, и яблоко, и я с женой.**

жавших из детского дома. Оберегая их от слежки и милиции, ходил для них в магазин за продуктами — у шпаны не было денег. Они же потом чуть не убили его. От этого страшного эпизода остался шрам во всю щеку от бритвы. Но это не обозлило его, он рассказывал о детдомовцах с состраданием и болью за них.

...Один художник, к которому однажды зашел Олег, пожаловался на внезапно напавшую болезнь — рука стала покрываться экземой, стало трудно рисовать, и как излечиться? «Дай-ка руку, — попросил Олег, посмотрел на струпья, взял в свои руки, поцеловал и сказал: — вот увидишь, все пройдет». Рука стала заживать, и с тех пор болезнь не возвращалась.

...Он очень глубоко переживал смерть стрижа, которого ему дали рабочие. Они копали что-то на улице Воинова, подобрали раненую птицу, стриж разбился о провода или столбы. Отдали Олегу. Он как раз шел в Детгиз. Олег очень хотел его выводить, обращался к специалистам, но птицу спасти не удалось. Об этом были написаны стихи: **Хоть у плохого, но поэта
В руках уснула птица эта.
Нельзя на землю нам**

**спускаться,
На землю сел и не подняться.**

...Парадокс жизни: он скрывался на улице Каляева рядом с Большим домом (КГБ), в пустом здании, подготовленном к ремонту и населенном бездомными. В эти месяцы он приходил в Детгиз и прежде всегда сообщал, что вроде «хвоста нет».

На судебном процессе, прослушав пыльные ходатайства творческих союзов, требовавших освобождения поэта (эти ходатайства были организованы друзьями, творческие союзы не знали о процессе), прослушав аргументированное и искреннее выступление общественного защитника Александра Крестинского, Олег попросил разрешения у суда сделать заявление. Он сказал: «Я прошу рассматривать мое дело и судить меня не как поэта, а как простого рабочего, каким я и был всю жизнь».

Несмотря на то, что Григорьева все время трудоустроивали и обвиняли в тунеядстве (в Союз писателей его не принимали), он все время где-то работал. Почтальоном, разнорабочим в доке на Охте, прессовщиком на заводе Калинина, на фабрике на 7-й линии Васильевского острова, на стройке, вахтером строительного треста на Октябрьской железной дороге, на конвейере на «Скоророде». И все время писал стихи, что было для него — как дышать, как слушать русскую речь.

В этом заявлении поэта на суде — естественное его побуждение не отделить себя от нас: он такой же, он разделяет с нами со всеми нашу судьбу, в которой «в клетке» может оказаться любой, это дело случая.

Конечно, он не мог не чувствовать своей избранности. В этом заявлении, может быть, и полемика с Бродским, судимым за тунеядство в 1964 году и заявившим на суде, что его специальность — «поэт, поэт-переводчик».

Он же все время себя сравнивал с собратьями по перу, и соревновался с ними, и полемизировал... Бродский на вопрос судьи о том, где он учился на поэта, ответил, что это дается не образованием: «Это от Бога». Григорьев, если бы он умел говорить красиво, как тургеневский Аркадий, друг Базарова, мог бы сказать, что это, скорее всего, от юридического.

Его последние стихи были отобраны и выверены. Свою избранность он, конечно, чувствовал. И понимал, какой тяжелый крест ему выпало нести:

**Крест свой огин не сдержал бы я,
Нести помогают пинками**

грузья,

А ходить же по водам

и небесам,

И то и другое — умею я сам.

Он пережил «Кресты». Это стало материализованным воплощением, жуткой метафорой, символизирующей его жизнь и творчество.

Именно там он сказал высокие слова, вспомнив Чехова: «Подвижники, как солнце, это самый поэтический и жизнедающий элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают». Именно там, заполняя почеркушками тетрадку, чтобы скоротать в камере тюремное время, на обложке нарисовал яблоко в разрезе — чистое, с косточками и то, которое «червь выел», а на последней странице он оставил рисунок звонницы, с несколькими колоколами, сквозь которую видится купол церкви с крестом. С его умением слышать и слушать он, конечно, слышал голос колокола...

● Ольга КОВАЛЕВСКАЯ
Санкт-Петербург

В 2003 году Петербургу исполнится 300 лет. А Олегу Григорьеву могло бы исполниться 60. Замечательный издатель Лев Захаров мечтал выпустить трехтомник поэта. Но планы издателя оборвала смерть. А рукопись — готова к печати. И ждет...

